

САДЫ СЛОВЕСНОСТИ

Независимая пресса. — 1998. — 25 июля. — с. 15

МЕЖДУ МАГАДАНОМ И ВАШИНГТОНОМ

«Чем становишься старше, тем мир становится более странным», — говорит Василий Аксенов

Сергей Шаповал

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, вы как-то сказали, что считаете себя вернувшимся в Россию. В то же время многие рассматривают вас (и для этого есть основания) как наезжающего на родину эмигранта. Кем все-таки вы себя ощущаете?

— Эмиграция, по сути дела, прекратилась с началом нового времени, теперь любой эмигрант спокойно может получить визу, приехать сюда, никто на него и внимания не обратит. А ведь я помню времена, когда один мой товарищ пришел в советское консульство в Вашингтоне за визой, ему сказали: «Ты спохнешь здесь, а страны нашей не увидишь».

Я себя не чувствую эмигрантом, хотя, конечно, эмигрантское сознание у меня есть: все-таки я в Америке почти 18 лет. Приезды на родину стали для меня такой рутиной, что я на них просто не обращаю внимания.

— Что в сегодняшней России кажется вам наиболее тревожным?

— Распространяющиеся антизападные настроения. Они, к сожалению, охватывают не только массы, которые послушно воспринимает то, что им навязывают, но и интеллектуалов. Болтают об американском прагматизме и своей духовности, и в голову им не приходит, что надо бы прежде всего рассказать о наших бесконечных предательствах, жуткой жестокости, миллионных жертвах. Считается: уже поговорили — хватит, давайте будем снова смотреть «Волгу-Волгу», «Судьбу барабанщика» и пр. Сейчас в почете гнусная солидная ностальгия, телевизор стал почти черно-белым из-за старого кино. Это очень опасно. Ведь Запад — это наша единственная надежда... Когда случается кризис, сразу же за кредитам бросаются на Запад, и он помогает. Это уже считается само собой разумеющимся, нет даже чувства благодарности. Да скажите же вы спасибо, произнесите, что Россия — часть западной цивилизации! Вместо этого разговоры о нашей особости...

— Вы упомянули о ностальгии, она действительно очень широко распространилась в последнее время. Как вы думаете, почему?

— Прежде всего потому, что очень много людей было связано с советской властью, они ее обслуживали. Резкая перестройка не могла у них не вызвать озлобленной ностальгии. Мы в молодости говорили: острожно в разговорах, каждый пятый — помощник славных чекистов. Кстати, пятая часть населения — это примерно 35 миллионов, столько же голосует за коммунистов... Потом ностальгию вызывает тоска по прошлой жизни: были ведь не только аресты, но и романы, личные победы и пр. По-человечески это понятно. Забавно посмотреть «Волгу-Волгу», но нельзя забывать о тысячах умерших на социалистических стройках зек, это дико и безнравственно! К сожалению, наш народ очень циничный и декадентный. Восемь лет писали о том, что из себя представляла советская власть, но — все бесполезно!

— Нет ли в этом заслуги и шестидесятников? Ведь именно они внедрили рассуждения типа «с одной стороны так, но с другой — совсем наоборот», «это личность сложная, неоднозначная», вместо того чтобы, скажем, сволочь назвать сволочью...

— Отчетливых сволочей мало, как мало и святых. Я говорю не о тех, кто был завязан в карательную систему. В писательском мире было очень много ничтожеств, но вы же не станете отрицать, что ничтожество может любить своих детей, что у него может дрогнуть сердце при виде нищего...

— Конечно, очень трогательная история удочерения девочки из детского дома Николаем Ивановичем Ежовым...

— Да. Но, разумеется, это не дает им никакой индульгенции. Если ты стукач или палач, то таким для меня и останешься. Это ощущение часто приходит сегодня: многие из них стали демократами. А я помню, что они говорили, приезжая в Америку, как они бесконечно ввалили с экрана телевизора. Я никому не навязываю своих ощущений, не призываю к какому-то наказанию. Другое дело — в России в свое время нужно было проводить дебольшевиизацию. Нужен был обстоятельный серьезный разговор, но он оказался скомканым.

— Именно в этом обвиняют шестидесятников, ведь они были флагманами перестройки.

— Вы знаете, шестидесятников как цельного явления не было. Были шестидесятники-лгуны, были шестидесятники-правдоискатели, была богема 60-х, к которой принадлежал и я. Это все были разные люди, они между собой не могли найти общего языка.

— Вы не раз говорили о том, сколь важной была роль матери в вашей жизни. Чему она вас научила, что остается важным для вас до сих пор?

— До встречи с ней (мне тогда было около 16 лет) я был типичным советским провинциальным мальчиком. Ее удивила, как она говорила, моя достаточно неплохая эрудиция: я более или менее ориентировался в литературе, мог отличить хорошее произведение от ерунды. Но она открыла для меня Серебряный век, по тем временам (тогда даже Достоевского убрали из библиотек) событие было фантастическим. Я понял, что была невероятная эпоха, оставившая в культуре очень мощный след. И еще одно. Мы жили в Магадане на краю света, наш барак сотрясался от страшных ветров. Вокруг матери возник кружок. Я сидел в уголке и слушал. Это были люди, которым терять было нечего, у них даже страх атрофировался, они демонстрировали настоящую интеллектуальную свободу. Через некоторое время я понял, что Магадан — самый свободный город в Советском Союзе. Все это отразилось на моей последующей жизни. У нас была веселая студенческая компания, мы жили так, будто нет никакой власти. В общем мы были близки к beat generation, хотя об их существовании даже и не знали. В 60-е годы стало выясняться, что вызывали то одного, то другого, стало ясно, что наша игра была очень опасной... Недавно я копался в татарском архиве, где получил раз-

решение на знакомство с делом мамы. Никаких открытий там не было, все было описано в «Крутом маршруте». Вдруг из дела выпала бумажка, это был запрос татарских чекистов копии дела матери из Магадана «в связи с началом разработки ее сына, студента первого курса Аксенова В.П.». Если бы Сталин прожил дольше, я бы наверняка оказался в лагерьях.

— Как бы вы могли определить свое отношение к советской действительности, когда начинали творческую деятельность?

— Это было стойкое отвращение. Но я понимал, что, хочу если писать и печататься, я должен кривить душой, хотя бы отчасти. Это было аксиомой, другого пути просто не было. Я протаскивал какие-то идеи, но были необходимы некоторые «защитные мероприятия». Скажем, в повести «Коллеги» герой поехал работать в деревню, оказал благодарную помощь в борьбе с бандитами, кто-то работал на какой-то стройке и т.д., но главными были идеи 56-го года, которые еле-еле просвечивали в тексте. И потом, впервые героем стал «сердитый молодой человек». Да, мне приходилось отдавать себе отчет в том, что некие идеи можно протаскивать лишь тогда, когда произведение в целом выглядит «своим». Я не могу назвать это цинизмом, это был реальный взгляд на действительность...

В 1963 году произошло очень мощное наступление на постсталинское искусство и литературу в частности. Хрушев на собрании в Кремле атаковал лично меня, кричал: «Мы вас сотрем в порошок!» Всех, кого он персонально критиковал, потом заставляли покаяться. Однажды в «Юности» мне сказали: «Если ты не напишешь статью в «Правду», нас закроют». Я пошел к главному редактору «Правды», он дал мне некоторые установки. Я написал то, что ему категорически не понравилось, была некоторая борьба, в конце концов вышла довольно противная статья. Это было мое личное покаяние, а не от имени поколения. Речь шла о том, что я легкомысленный человек, не понявший партийных призывов... Это был очень неприятный компромисс, я до сих пор его вспоминаю с отвращением...

— Состояние постоянного компромисса, частых публичных покаяний у многих надламывало сознание. Вы ничего подобного не ощутили?

— Нет. Наоборот, я стал злее и смелее, как ни странно. То же самое произошло с Булатом и Войновичем. Может быть, из Войновича не получился бы диссидент, если бы его не заставили покаяться. Акт покаяния фактически приводил к обратному результату: радикализировалось сознание, колоссально расширялась сфера возможных действий. Это была не деформация, а раскрытие новых возможностей и сил для сопротивления. С того момента власть и пошла под гору... Недавно я в компании нескольких наших писателей был на одном крупном приеме, к нам подошел очень важный человек и сказал: «Тогда все думали, что главным идеологом является Михаил Андреевич Суслов, а сейчас я понимаю, что это вы были главными идеологами». Действи-

тельно, влияние постсталинского авангарда было очень сильным. Я могу много негативного сказать о Евтушенке, но его влияние на расшатывание устоев тоталитарного режима было огромным...

— Может быть, более сильным было его растлевающее влияние, он в значительной мере оказывал воздействие на формирование типа советского интеллигента — беспринципного, фрондирующего в рамках дозволенного, идущего на многое ради поездки за границу...

— И тем не менее Евтушенко оказывал большое освобождающее влияние на окружающих людей... В этой проблеме есть один важный момент, который необходимо учитывать. Сама по себе Октябрьская революция для многих не была заведомой ложью. Я к этим людям не относился, а вот Булат входил в их число. «Комиссары в пыльных шлемах», «Комсомольская богиня» — очень искренние вещи.

— В свое время Шаламов в ужасах ГУЛАГа обвинил классическую русскую литературу. Нельзя ли в параллель этому сказать, что в появлении советских танков в Праге виноваты и шестидесятники, воспевавшие комиссарскую героиню, видевшие среди комсомолок богинь и мечтавшие об отстранном революционном знамени?

— Ну, это парадоксы... Чехословацкие события для всех нас стали поворотным пунктом. Вся революционная романтика испарилась в один день, мы почувствовали себя в стане врагов. Весть о вводе танков в Прагу застала меня в Крыму, это был очень сильный эмоциональный удар. Помню, я напился и на базаре кричал: «Все в партизаны!» Все надежды рухнули.

— Вы уезжали из страны, которая еще была литературоцентричной, в которой писатель был больше, чем писатель. Здесь вы были культовой фигурой, в Америке стали одним из интеллектуалов, пишущих книги. Как вы это пережили?

— Моя известность в советские времена была довольно двусмысленной. Например, мне иногда удавалось что-то напечатать, но меня на пушечный выстрел не допускали к телевидению, я был в черном списке. Перед высылкой долгое время у меня не было никаких изданий, обо мне что-то знали, немного ходил в списках «Ожог». Так что здесь я не был избалован вниманием. Когда я приехал на Запад, на меня все набросились, все главные журналы и газеты Америки печатали обо мне статьи, брали интервью. Сейчас ситуация кардинально изменилась: я стал очень популярным здесь, меня даже узнают на улице. В Америке меня знает довольно узкая группа писателей, которые интересуются литературой (есть писатели, литературой не интересующиеся). В этом кругу у меня колоссальная репутация. Говорить о более широкой известности не приходится, американцы не знают и своих писателей. Это отнюдь не литературоцентричная страна, там существует приказка: это же просто книга. Тем не менее 25 тысяч экземпляров каждой моей книги продается, значит, есть какая-то группа людей, которая меня читает.

— Такая степень известности удовлетворяет ваши амбиции?

— У меня абсолютно нет тщеславия. Такой популярности мне достаточно.

— Предположим, вы приедете следующим летом в Москву, а этого никто не заметит...

— Я как раз в этом году стал задумываться: где мой настоящий читатель? У меня долгое время был однозначный ответ: конечно, в России. Но потом заметил вот что. Я пишу книгу за книгой, эти книги очень важны для меня, они гораздо лучше того, что было написано раньше — никакого ответа! Иногда читатели выражают свои восторги, но литературная общность молчит. Я вовсе не жажду восхвалений, мне хочется серьезного профессионального разговора, а его-то и нет. Между тем как в Америке и Франции все самые важные литературные еженедельники напечатали большие статьи о моих последних вещах. Одна статья о «Московской саге» вышла под названием «Настоящий роман. Наконец-то!» Посмотреть на тиражи, тоже странная картина: во Франции продается по 30 тысяч экземпляров, здесь — с трудом расходуется 15 тысяч.

— Насколько сейчас книжный рынок России сопоставим с американским?

— С некоторыми оговорками сопоставим. Там нет таких влиятельных литературных журналов, как в России, там чисто литературный журнал может издаваться только в университете. Рынок «pulp fiction» невероятно обширен, его еще называют «базарным чтением». Издается вся классика, вы можете найти любого философа, любые живописные альбомы... Как ни странно, книжный бизнес, которому столько раз уже пророчили гибель, в Америке разрастается, строится все больше огромных книжных магазинов. Выясняется, что люди по-прежнему любят полежать с книжечкой. И вообще там идет просто поток разной культурной продукции (о чем, кстати, здесь говорить не любят), четко обозначены различные ниши — выбирай.

— Вы сказали, что сейчас стали писать гораздо лучше, чем раньше. Почему вы в этом уверены?

— Я уже достаточно опытен, чтобы понять, как написана вещь. Ранние мои вещи, которые здесь до сих пор помнят, просто детсадовские. Я не люблю о них даже говорить. Сейчас у меня другой опыт, резко изменился взгляд на метафизические проблемы, на человека как участника некоего таинственного процесса во Вселенной или даже за ее пределами.

— Сам процесс писания доставляет вам удовольствие?

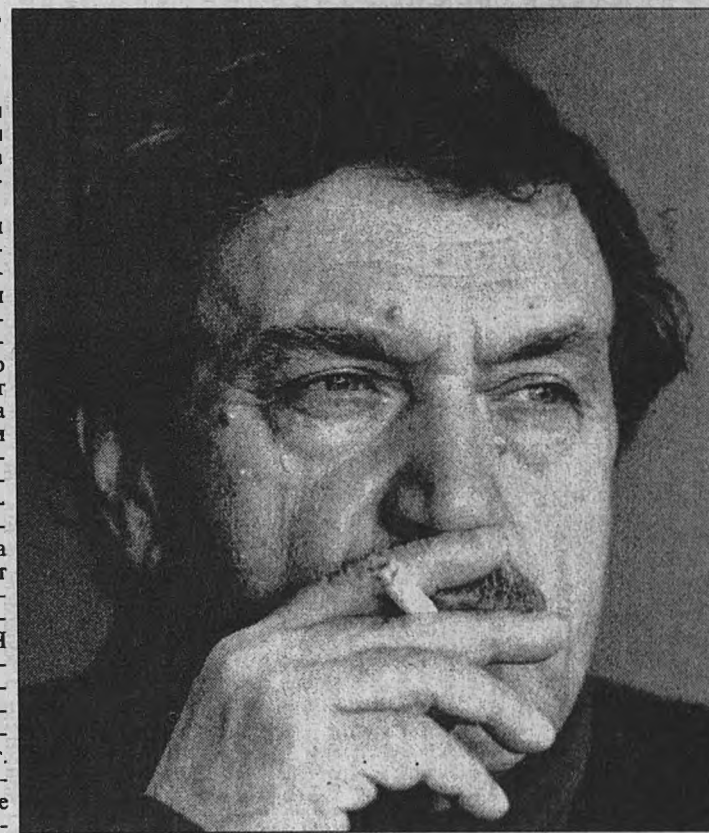


Фото Фреды Гринберга (НГ-фото)

— Я очень люблю писать, я графоман. Я пишу от руки, потом переношу текст в компьютер. Так что роман я пишу два раза.

— Не рискуете, называя себя графоманом?

— Классический графоман испытывает упоение просто оттого, что у него что-то получилось, качество текста не берется в расчет. В моем случае, я думаю, это далеко не так. Потому что... я умею писать. (Смеется). Я знаю отчетливо, что я — сильный профессиональный писатель.

— Как вам кажется, в литературе есть хоть что-то сакральное?

— Я убежден, что есть великие книги, которые имеют некую связь со сферой невидимого. Например, «Божественная комедия» Данте. Я уверен, что он ТАМ был, вернувшись или придя в себя, он и написал свою книгу. Мне кажется, он назвал ее «комедией» потому, что передать словами то, что он видел, невозможно, но он все-таки пытается это сделать, поэтому и получается «комедия». Или «Сон смешного человека» Достоевского. Он страдал от эпилепсии, но с какого-то момента вдруг понял, что ждет очередной приступ, потому что во время приступа мелькало мгновение (а может быть, проходило и более длительное время), когда он понимал о жизни все, видел ее причинность. По-моему, «Сон смешного человека» написан после некоего путешествия. В рассказе есть фраза: «Я знаю, что ничего вам не могу рассказать про это, но тем не менее я буду говорить об этом...» Когда подходишь к моему возрасту, отбираешь произведения, которые созвучны твоему восприятию мира. А чем ты становишься старше, тем мир становится все более и более странным...

